

В.И. Качалов

Встречи с Есениным

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видал его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосим, скуластым, басистым. И слышал о нем, о его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 г. в каком-то журнале. И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане — горсточку русской земли. Так явственно, сладко и горько пахло от них родной землей. «Приведем к вам сегодня Есенина», — объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по моему, в марте 1925 г. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться...» Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидел Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться», — бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его детски лукавая, как будто даже с хитрецей улыбка.

Меня поразила его молодость. Когда он молча, и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Сели за стол, стали пить водку. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Когда выпил первые две-три рюмки, он сразу заметно постарел. Как будто усталость появилась в глазах; на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность застывали в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно слушает оппонента: брови слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно. Чуть приподнялась верхняя губа — и какое-то хорошее выражение, лицо пытливого, вдумчивого, в чем-то очень честного, в чем-то даже строгого, здорового парня, — парня с крепкой «башкой».

А вот брови сжались, пошли книзу, совсем опустились на ресницы, и из-под них уже мрачно, тускло поблескивали две капли белых глаз — со звериной тоской и со звериной дерзостью. Углы рта опустились, натянулась на зубы верхняя губа, и весь рот напомнил сразу звериный оскал, и весь он вдруг напомнил готового огрызаться волчонка, которого травят.

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, но в то же время и очень по-мужицки — и заулыбался широкой, сочной, озаряющей улыбкой, и глаза засветились «синими брызгами», действительно стали синие.

Сидели долго. Пили. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомство с Блоком. Замечательно читал стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства и потом,

каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — у него, и у трезвого и у пьяного, всегда становилось прекрасным лицо, сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился голос, если бы почему-нибудь не было слышно, наверно, можно было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает.

Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво-неожиданно-контрастно. Тут же на глазах он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто не крепко шит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто синими, как у тысячи рязанских новобранцев на призыве — рязанских, и московских, и тульских, — что-то очень широко русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шею накинуто еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен... Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня... Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не выхоленная, мужицкая. Голос с приятной сипотцой... Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, рассыпалась... вся «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни кашне на шее, ни галстук парижский. А выпил стакан красного, легкого вина залпом, но выпил, как водку, с привычной гримасой (как будто очень противно) и — ох! Рязань косопузая пьет в кабаке. Выпил, крикнул, взметнул шапкой волос и, откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвезть и умереть.

Ох, подумал я, с какими иными «культурами» общается Есенин, в какие иные миры свободно вторгается эта наша «косопузая Рязань!»

Прихожу как-то домой — вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли...

В июне того же года театр приехал на гастроли в Баку. Нас пугали этим городом, бакинской пылью, бакинскими горячими ветрами, нефтяным духом, зноем и пр. И не хотелось туда ехать из чудесного Тифлиса. Но вот сижу в Баку на вышке ресторана «Новая Европа». Хорошо. Пыль как пыль, ветер как ветер, море как море, запах соли доносится на шестой, седьмой этажи. Приходит молодая, миловидная, смуглая девушка и спрашивает: «Вы Качалов?» — «Качалов», — отвечаю. «Один приехали?» — «Нет, с театром». — «А больше никого не привезли?» Недоумеваю: «Жена, говорю, со мною, товарищи». —

«А Джима нет с вами?» – почти вскрикнула. «Нет, говорю, Джим в Москве остался». — «А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака. Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море».

Девушка отошла от меня огорченная. «Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима»...

Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город — сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «все позволено». Ему все прощают.

Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция — все охраняют его.

Кончаю спектакль «Царя Федора». Театральный сторож, тюрк, подает записку, лицо сердитое. В записке ничего разобрать нельзя. Бездна надежные каракули. Подпись «Есенин». «Где же, спрашиваю, тот, кто написал записку?» Сторож отвечает мрачно: «На улице, за дверью. Ругается. Меня называет “сукин сын”. Я его не пускаю. Он так всех вас будет называть». Я поспешил на улицу, как был в царском облачении Федора, даже в мономаховой шапке. Есенин сидит на камне, у двери, в темной рубашке кавказского покроя, кепка надвинута на глаза... Взволнован. Страшно обижен на сторожа. Бледный, шепчет сторожу: «Ты не кацо — кацо так не поступают». Я их с трудом примирил и привел Есенина за кулисы, в нашу уборную. Познакомил со Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы раскровавлены. Он высасывает кровь, улыбается: «Это я вам, об шипы накололся, пожалуйста», – поднес нам каждому по два цветка. Следом за ним, сопя и отдуваясь, влез в уборную босой мальчик-тюрк, совсем черный, крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию...

Я ушел на сцену кончать последний акт «Царя Федора». Возвращаюсь в уборную — сидят трое. Станиславский, сощурился глазами, с любопытством рассматривает и внимательно слушает.

Есенин уже без всякого звука хриплым шепотом читает стихи:

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,—

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

В уголке на корзине с провиантом сидит мальчик-тюрк и тоже как будто внимательно слушает, задумчиво ковыряя в носу.

Мелькают еще воспоминания, еще встречи. Короткие, и немного их было, того же года, в Москве, в середине лета. Он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву. Женится. Зовет меня на мальчишник. Совсем здоровый, мне показалось, ясный, трезвый.

Осенью у Пильняка сидим. Спорит, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать, себя не терять и в то же время быть понятным.

А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу: «Расскажи, что и как Сергей». — «Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, попросил тебе кланяться. И Джиму — обязательно». — «Ну, говорю, выпьем за его здоровье». Чокнулись. «Пьем, говорю, за Есенина». Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было два — два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря.

Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.

«Кланяется тебе Есенин, – сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору, даже повторил: – Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин». Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен — кость или льдина, — и он даже не покосился в мою сторону.

Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере»...